



**М. Н. ПОКРОВСКИЙ**

**Русская история с древнейших времен**

<фрагмент>

### 5. НОВОЕ ОБЩЕСТВО

Завоевание феодальной России торговым капиталом, каким бы временным и непрочным оно ни было, должно было сопровождаться крупными изменениями в *быте* русского общества. На всем протяжении своей тысячелетней истории с *этой стороны* последнее не переживало, вероятно, более резкой по внешности перемены. Она особенно поразит нас, если мы взглянем на это общество сверху. На самом вершине пирамиды, там, где еще так недавно высилось нечто вроде живой иконы в строгом византийском стиле, медленно и важно выступавшей перед глазами благоговевшей толпы, выступавшей лишь на минуту, чтобы тотчас же вновь скрыться в темной глубине теремов, теперь виднелась нервная, подвижная до суетливости фигура в рабочей куртке, вечно на людях, вечно на улице, причем нельзя было разобрать, где же кончалась улица и начинался царский дворец. Ибо и там и тут было одинаково бесчинно, шумно и пьяно, и там и тут была одинаково пестрая и бесцеремонная толпа, где царского министра в золоченом кафтане и андреевской ленте толкал локтем голландский матрос, явившийся сюда прямо с корабля, или немецкий лавочник, пришедший прямо из-за прилавка. Чем дальше от дворца, правда, тем перемена чувствовалась меньше. Уже служилый человек, довольно охотно надев на себя немецкий костюм и несколько менее охотно сбрив бороду, сидя в учрежденной по заморскому образцу коллегии, не прочь был по старине поместничаться со своим соседом, дома же держал у себя все по старому чину и если пускал к себе иной день улицу, то лишь с великою неохотой и по строгому царскому указу. Ниже служилых шла плотная масса «раскольников и борода-

чей», которых перемена не коснулась даже и внешним образом и которые еще на полтора столетия, до романов Печерского<sup>1</sup> и комедий Островского<sup>2</sup>, сохранили свой «быт» во всей его неприкосновенности. И уж совсем никакой перемены нельзя было заметить в многомиллионной мужицкой массе: прежнее крепостное ярмо ее ничуть не облегчилось от новых порядков, а новая, капиталистическая барщина с ее утонченными способами эксплуатации была еще далеко впереди. Употребляя старофранцузские термины, «двор» изменился сильнее, чем «город», а деревня совсем не изменилась. Но «двор» был центром совершившегося экономического переворота — мы видели значение царского хозяйства в деле образования торгового капитала; «город» был театром этого переворота, и если теперь, конечно, мы не станем говорить о «петровской культуре» как о какой-то новой эре для всего русского народа — черед его «европеизации» наступил лишь во второй половине XIX века, — то все же задача проследить влияние перемены в народном хозяйстве вплоть до «быта» и «нравов» остается не лишеной интереса. Тем более что мы имеем здесь последовательность явлений, не составляющую национальной особенности русского народа. Сходство того, что происходило в России начала XVIII века, с тем, что знакомо западноевропейской истории XVI, — иногда фотографическое. И это фотографическое сходство не менее поучительно, нежели тот всем привычный факт, что город, возникающий в начале XX века где-нибудь в глуши южной Африки, как две капли воды будет похож на город, который одновременно строят в Канаде или даже на европейских «концессиях» Китая. Утомительное однообразие буржуазной культуры нашего времени на добрую долю объясняется громадной ролью, какую играет в современной жизни техника, одинаковая под всеми широтами и долготами. Общество начала XVIII века было еще почти столь же примитивно в этом отношении, как и его предшественники на два столетия раньше. Стоит почитать переписку французских чиновников придворного и дипломатического ведомств, решавших в 1717 году трудную задачу: как им переправить из Кале в Париж русского царя с его свитой — десятка четыре народу, не больше чем на пару вагонов теперешнего экспресса. А тогда люди не знали ни днем, ни ночью покоя от мысли: где достать столько экипажей, чтобы поместить в них такую толпу? И смогли выйти из затруднения, только сделав перевозку знатных путешественников натуральной повинностью местного крестьянства. Общество, так еще мало умевшее бороться с природой, должно было гораздо более нашего зависеть от времени и

пространства. Тем удивительнее смотреть, как русские современники Петра до мелочей воспроизводят отдаленный от них на два столетия и большинству из них совершенно незнакомый итальянский и фландрский «ренессанс».

Возьмем классическую характеристику этого последнего, сделанную в свое время Тэном<sup>3</sup>. «Живописные праздники, которые давались во всех городах, торжественные въезды, маскарады, кавалькады составляли главное удовольствие народа и государей... Когда читаешь хроники и мемуары, видишь, что итальянцы хотели сделать жизнь роскошным празднеством. Все другие заботы им казались глупостью». Мы не должны смущаться этим общим определением — «итальянцы»: в приведенных автором примерах мелькают имена Гадеаццо Сфорцы<sup>4</sup>, герцога миланского, кардинала Пьетро Риарио, Лаврентия Медичи<sup>5</sup>, папы Александра VI<sup>6</sup> или Льва X<sup>7</sup>. Итальянцы, стремившиеся превратить свою жизнь в роскошный праздник, — это опять-таки «двор» и отчасти «город»: итальянское крестьянство жило и тогда так же, как двести лет раньше и как двести лет спустя. Приглядитесь к подробностям этого «роскошного праздника». У папы Льва X был шут, монах Мариано, «страшный обжора, который мог проглотить сразу вареного или жареного голубя и мог съесть за один присест сорок яиц и двадцать цыплят». Папу очень забавляла картина, где Мариано был изображен, окруженный всячески издевавшимися над ним чертями. В присутствии папы представляют комедию, один сюжет которой, любезно объясненный предварительно публике папским нунцием, заставил покраснеть присутствовавших французских дипломатов. А можно себе представить, насколько целомудренны были эти современники Франсуа I<sup>8</sup>, «тешащегося короля» (*le roi qui s'amuse*)! Когда публика расходилась после этого спектакля, была такая давка и толкотня, что счастлив был тот, кому только «чуть-чуть» не сломали ногу. А накануне папа смотрел турнир между двумя кавалькадами: одна была одета в костюмы мавров, другая — в испанские. Дрались «только» палками, «что было очень красиво видеть и безопасно». Но на другой день был бой быков, уж не столь безопасный: во время него было убито три человека и две лошади. Потом опять была комедия, на этот раз не понравившаяся папе, — автора ее в наказание завернули в одеяло и подбросили кверху с таким расчетом, чтобы он ударился животом о подмостки сцены\*.

\* «Philosophie de l'art». I. 175.

Возьмем теперь записки какого-нибудь современника петровской реформы, имевшего случай наблюдать Россию «сверху», хотя бы известный дневник Берхгольца<sup>9</sup>. Вам покажется, что русские подобно итальянцам XVI века решили всю свою жизнь превратить в сплошной праздник и считают все остальное глупостью. С раута в Летнем саду мы попадаем на бал во дворце, с бала — на спуск нового корабля, что стоит десяти балов, со спуска корабля — на маскарад по случаю Ништадтского мира. Неправильно сказать «на маскарад», ибо их было несколько и каждый длился по нескольку дней. Густая пелена винного угара висит над всей этой чрезвычайно обстоятельной и многоречивой одиссеей голштинского двора в Петербурге, рассказанной Берхгольцем, и не без вздоха облегчения сообщает он иногда (так редко!), что «сегодня разрешено было пить столько, сколько хочешь». Ибо обыкновенно пить было обязательно, сколько хочет царь... Лаврентий Великолепный, тщетно пытавшийся достать слона для одной из своих процессий, мог бы позавидовать Петру, к услугам которого был целый зверинец. И уж, наверное, никакому итальянскому князю не удалось бы устроить такого маскарада, который подарила Петру русская зима, когда целый флот двигался по улицам Москвы на санях. Экипаж самого царя представлял точную копию — в миниатюре — только что спущенного недавно величайшего корабля русского флота «Миротворца» (он, конечно, назывался по-голландски — *Fridemaker*). На нем было несколько мальчиков-юнг, проделывавших все морские эволюции, «как самые лучшие и опытнейшие боцмана». По команде Петра они ставили паруса, как требовало направление ветра, «что оказывало хорошую помощь 15 лошадям, которые тащили корабль». Он был вооружен 8 или 10 настоящими пушками, из которых Петр салютовал время от времени, а ему отвечал с другого такого же «корабля» валахский господарь, ехавший в конце поезда. Всего было около 60 саней — 25 дамских и 36 мужских, причем самые маленькие везли 6 лошадей. А перед этим «серьезным», или «настоящим», маскарадом шла еще шутовская процессия «князя-папы» с его кардиналами и божеством морской стихии — Нептуном. Император, по всему судя, забавлялся истинно по-царски. Сколько стоило это удовольствие государю, который любил говорить, что «копейка рубль бережет», не нужно спрашивать. То была притом не первая забава такого рода на протяжении очень короткого времени: всего за несколько месяцев перед тем все по случаю того же Ништадтского мира был роскошный маскарад в Петербурге, длившийся тоже несколько дней и происходивший попеременно

то на суше, то на Неве. В этом маскараде участвовало до тысячи масок. Дамы были одеты пастушками, нимфами, арапками, монахинями, арлекинами, скарамушами, а впереди них шла императрица со всеми фрейлинами и статс-дамами и костюмах голландских крестьянок. Мужчины шли в костюмах французских виноделов, гамбургских бургомистров, римских воинов, турок, индейцев, испанцев, персиан, китайцев, епископов, прелатов, каноников, аббатов, капуцинов, доминиканцев, иезуитов, министров в шелковых мантиях и огромных париках, венецианских нобилей, корабельных плотников, рудокопов и, наконец, русских, бояр в высоких собольих шапках и длинных парчовых одеяниях, «также и с длинными бородами, и ехали на живых ручных медведях». А за ними, замыкая шествие, вертелся в огромном беличьем колесе царский шут, «очень натурально изображавший медведя». Шел индийский брамин, увешанный раковинами, в шляпе с широчайшими полями, и краснокожие, покрытые разноцветными перьями. Два часа двигалось это шествие перед глазами от мала до велика собравшихся на Сенатскую площадь петербуржцев, а впереди него неутомимо колотил в барабан сам царь, одетый то голландским боцманом, то французским крестьянином, но не расстававшийся со своим шумным инструментом ни при каком костюме.

Берхгольц много раз повторяет, что все в процессии было очень «натурально». Те способы, какими Петр подготовлял «эту натуральность», весьма живо напоминают нам шутки Льва X с его «братом Мариано». В числе других масок шел, например, Бахус «в тигровой шкуре, обвешанный гроздьями винограда». «Он очень натурально представлял Бахуса: это был необыкновенно толстый, низенький человек, с очень полным лицом, его целых три дня перед тем непрерывно поили, не давая ему ни минуты спать». Тут здоровье бедного Бахуса было принесено в жертву как-никак «искусству». Но Петр любил шутить на чужой коже и просто ради самой шутки, без всяких дальних расчетов. Во время речной части маскарада его знаменитого «князя-папу» везли через Неву на особого рода машине, состоявшей из плота, на котором поставлен был котел, наполненный пивом; посреди котла в огромной деревянной чашке плавал несчастный «всешутейший патриарх», а сзади, на бочках, плыли ни живы ни мертвы его не менее несчастные кардиналы. Когда «машина» подошла к берегу и ее пассажиров нужно было высаживать, те, кому царь поручил эту операцию, по специальному приказу опрокинули чашку с князем-папой, и тот принял пивную ванну. Мы уже очень недалеко от того автора комедии, которого по

папскому приказу подбрасывали на сцене, как мячик. Сейчас мы будем к нему еще ближе. На обеде у канцлера Головкина «царь забавлялся над кухмистером царицы, подававшим на стол: когда он поставил перед царем блюдо с кушаньем, тот схватил его за голову и сделал ему рожки над головой». Это был деликатный намек на то, что жена кухмистера была когда-то ему неверна, каковое обстоятельство Петр в свое время ознаменовал тем, что велел повесить над дверями кухмистерова жилища пару оленьих рогов. Объект царских шуток относился к ним не очень терпеливо, и царские денщики должны были во все время крепко держать его сзади, чтобы он не вырвался. Он отбивался, и уж совсем не на шутку: один раз схватил царя за пальцы так, что чуть не сломал. Подобные сцены происходили постоянно у Петра с этим человеком, как объяснили Берхгольцу, но тем не менее Петр всякий раз, как его видел, принимался его дразнить. За двадцать лет раньше Корб<sup>10</sup> был свидетелем сцены в том же роде, но еще более выразительной. Дело было на «роскошно устроенном пире», притом в гостях у цесарского посла. В числе приглашенной вместе с царем знати был боярин Головин, который «питал врожденное отвращение к салату и употреблению уксуса; царь велел полковнику Чамберсу возможно крепче сжать боярина и сам стал насильно запикивать ему в рот и нос салат и наливать уксус до тех пор, пока Головин сильно закашлялся и из носа у него хлынула кровь».

Глава христианской церкви в XVI веке находил удовольствие смотреть на «шутки чертей» с фра Мариано и на представление комедии, один сюжет которой заставлял краснеть соотечественников Рабле<sup>11</sup>. Главе всемирного православного царства в начале XVIII века доставляло особенное наслаждение издеваться над церковными обрядами. Мимоходом мы уже упоминали «князя-папу», конечно, знакомого читателю хотя по имени. Выступление его с его коллегией кардиналов представляло собою самый диковинный (*sonderbarste*) номер маскарада, описанного Берхгольцем. Коллегия состояла из «величайших и распутнейших пьяниц всей России, но притом все людей хорошего происхождения». Мы не будем повторять наивных объяснений этого «обряда», которые повторяет Берхгольц со слов петровских придворных: что это была будто бы не то сатира на пьянство (воплощением этой сатиры с удобством мог служить сам царский двор того времени), не то издевательство над католической церковью, до которой Петру не было никакого дела. Свидетельство человека, который был очевидцем основания «всешутейшей коллегии», не оставляет никаких сомнений, что католицизм тут ни

при чем. «Теперь не надобно сего забыть и описать, коим образом *потешной* был *патриарх* учинен», — начинает свое описание Петровой потехи князь Куракин в своей «Гистории о царе Петре Алексеевиче»<sup>3</sup>. И хотя он старается ослабить впечатление своих читателей кое-какими оговорками, что «одеяние было поделано некоторым образом шуточное, а не так власное, как на приклад патриарху», но и он не мог умолчать, что «вместо Евангелия была сделана книга, в которой несколько стклянок с водкою», и что окарикатурение торжественного шествия патриарха на осляти в вербное воскресенье было одною из главных потех; в этот день «патриарха» возили на верблюде «в сад набережной к погребу фряжскому». А другой очевидец, Корб, оставил нам еще более наглядное описание одной из церемоний. 21 февраля 1699 года «патриарх» освящал лефортовский дворец; при этом были воспроизведены все подробности церковного обряда, курение ладаном (вместо ладана курили табаком) и т. п., а вместо креста при освящении служили две трубки, положенные поперек одна на другую. Это последнее обстоятельство чрезвычайно сильно поразило воображение набожного католика: «Кто поверит, — заканчивает свой рассказ Корб, — что составленный таким образом крест, драгоценнейший символ нашего искупления, являлся предметом посмешища?» Но те, кто ближе был знаком с делом, поверили бы и не этому. Надругательства над Евангелием и крестом были самой невинной еще частью «шутящего» ритуала. Как в свое время очевидец не решился передать содержание представлявшейся на папском театре комедии, а только дал понять, какое впечатление произвела она на зрителей, так князь Куракин не решается подробно описывать, в чем состояла церемония поставления «патриарха». «В терминах таких, — кратко говорит он, — о которых запотребно находим не распространять, но кратко скажем — к пьянству, и к блуду, и к всяким дебошам». А в описании царских потех наш автор является большим реалистом и также приводит образчики таких «шутков» Петра, которые в наше время удобнее не цитировать. Можно себе представить, о чем даже и он находил нужным молчать!\*

Были ли это просто цинизм и грубость, как объяснил петровскую «юмористику» здравомыслящий немец Фоккерод? У настоящего Ренессанса шутки над монахами переходили в серьез-

\* См. «Архив кн. Ф. А. Куракина». 1. С. 74. — О церемонии избрания князя-папы кое-что сообщает Фоккерод, к которому мы и отсылаем читателя. См. также: *Семевский М.* Петр Великий как юморист.

ное отрицание церковной традиции. Над священными вещами смеялись потому, что они в глубине души уже перестали считаться священными. Когда папы почувствовали это, они перестали шутить с огнем и монахов-шутов при папском дворе сменили иезуиты. Но гуманизм не ограничивался папским двором, и вне этого последнего оставалось достаточно места, где торжествовало «светское настроение», дававшее себя знать уже не одними шутками. Была ли доступна эта серьезная сторона религиозного вольнодумства самому Петру? Современники рисуют его в этой области человеком старых привычек, не пропускавшим церковных служб, любившим подпевать певчим на клиросе и никогда не входившим в церковь в немецком парике. Это был единственный случай, когда царь сам отступал от заведенной им западной моды. Но когда дело заходило не о безобидных уступках обычаю, когда этот обычай сталкивался с тем, что было практически нужно, Петр оказывался более свободным мыслителем, чем можно было ожидать от человека таких консервативных привычек. Во время кампании 1714 года петровское интендантство нашло весьма благочестивым делом кормить солдат в петровский пост постной пищей. Присмотревшись к результатам этого благочестия, Петр написал его виновнику, Кикину: «Святое ваше распоряжение — на пять недель снятков ржавых и воду — солдаты две недели употребляли, отчего без невелика 1000 человек заболело и службы лишилось, отчего принужден я закон ваш оставить и давать масло и мясо... Правда, когда бы шведов так кормить, дело б изрядно было, а нашим я не вотчим». К раскольникам, изображавшим антихриста и его войнство в мундирах петровской гвардии, Петр не имел оснований относиться особенно благосклонно. Но раскол был силен среди купечества, и с этим не мог не считаться царь, который даже из-за границы готов выписывать обанкротившихся купцов. Узнав, что купцы-староверы «честны и прилежны», Петр высказал сентенцию, может быть и приукрашенную его позднейшим историком, но едва ли сочиненную этим последним: «Если они подлинно таковы, то по мне пусть веруют, чему хотят, и когда уже нельзя их обратить от суеверия рассудком, то, конечно, не пособит ни огонь, ни меч; а мучениками за глупость быть — ни они той чести не достойны, ни государство пользы иметь не будет». Выгорецким раскольникам формально было позволено служить по старым книгам под условием работы на Повенецких заводах; это был едва ли не первый случай в России религиозной терпимости по отношению не к «инославному» исповеданию, а возникшей внутри православия «секте». Заявление известного



указа 1702 года о нежелании царя «совести человеческой приневоливать» не было, таким образом, голой фразой, и мы имеем образчик терпимого, по тогдашним нравам по крайней мере, отношения Петра и его правительства уже к форменным «вольнодумцам». Московский лекарь Тверитинов говорил громко<sup>4</sup> — и не только говорил, но и писал, и писания свои читать давал — такие, например, вещи: «Икона только вапь и доска без силы чудотворения; если бросить ее в огонь, она сгорит и не сохранит себя»; «неподобно поклоняться кресту, как бездушному дереву, не имеющему никакой силы»; «монашеское девство не по разуму святых писаний держится». Духовные власти с местоблюстителем патриаршего престола Стефаном Яворским во главе, конечно, привлекли за это смелого лекаря к ответу. Но в результате следствия он не только не был сожжен, как, несомненно, случилось бы с ним пятьюдесятью годами раньше, но получил даже свидетельство о своем православии, после формального покаяния, правда. А его духовным обвинителям пришлось наслушаться в Сенате, где разбиралось дело Тверитинова, весьма неприятных для них вещей. «Черничиска — плут! — кричали сенаторы монаху, обличавшему лекаря, — ты за скляницу вина душу свою продал». А самого митрополита Стефана из одного сенатского заседания прямо выгнали на том основании, что он не сенатор и ему на суде (над еретиком, заметим это) не место\*. Насчет монашества и сам император под конец жизни высказывал мнения, которые Яворскому, если бы он был жив, вероятно, очень бы не понравились. Если не происхождение, то распространение монашества он склонен был объяснять «ханжеством» греческих императоров, «а наипаче их жен» и тем, что, пользуясь этим ханжеством, к ним «некоторые плуты подошли». «Сия гангрена и у нас было зело распространяться начала под защищением единовластников церковных, но еще господь бог прежних владетелей так благодати своей не лишил, как греческих»\*\*.

Разрыв с традицией в книжке, в литературе должен был, конечно, сказаться еще сильнее, чем в жизненной практике. Реализм и светское настроение русской повести XVII века давно отметили специалисты: на наблюдениях этого рода основана упоминавшаяся уже характеристика Тихонравова<sup>12</sup>. Средневековый писатель, как и средневековый художник, знал только схе-

\* См.: *Тихонравов*. Московские вольнодумцы начала XVIII века и Стефан Яворский (Сочинения. Т. II).

\*\* См.: *Соловьев*. изд. «Общ. пользы». Кн. IV. С. 810 и сл.

мы, а не живых людей, для него важны были примеры добродетельного жития, а не человеческой личности. Интерес к личности, *индивидуализм*, составляет одну из характернейших черт и искусства, и литературы Возрождения. Наша художественная литература XVII—XVIII веков была сплошь переводной и подражательной — более подлинное настроение русского общества можно найти в *исторических* работах той поры. Уже историки Смуты, писавшие в первой половине XVII столетия, — Псевдо-Палицын, Катырев-Ростовский<sup>13</sup>, особенно автор соответствующих глав в так называемом «Хронографе 2-й редакции» — интересуются своими героями не как отвлеченными моральными образцами, а во всей их исторической конкретности. Князь Катырев-Ростовский первый захотел собрать данные о наружности русских государей начиная с Грозного и попытался дать характеристики каждого из них в отдельности. Гораздо выше его стоит в этом отношении Хронограф 1617 года. Его Годунов, Названный Димитрий, Гермоген — почти живые люди. У Дмитрия вы можете уловить его порывистость и нетерпеливый тон в спорах («а что то соборы, соборы? мощно быти и осмому и девятому собору»), его говорливость и живые умственные интересы («речением же многословесен и ко книжному писанию борзострителин»). И чтобы выдержать классический тип «еретика и расстриги», автору, в глубине души весьма, вероятно, смущенному, что у него выходит не то и не так, как надо, приходится не жалеть ругательств, совершенно не вяжущихся с теми фактами, которые он же сам приводит. На патриархе Гермогене он не выдержал и вместо стереотипного образа «страдальца за правду» дал портрет, правда, превосходно объясняющий судьбу Гермогена, но который мог бы скандализировать и не XVII век. «Не сладкогласив», «нравом груб», «ко злым же и благим не быстро-распрозрителен, но к льстивым паче и лукавым прилежа», «слуховерствователен» — такие реальные черты в физиономии почти угодника Божия настолько смутили одного из позднейших редакторов Хронографа, что он нашел нужным сопроводить характеристику пространством опровержением, где доказывал, что «неправо ее описатель вся глаголаше о святом сем муже о Ермогене». Но к счастью, не уничтожил самой характеристики.

Реализм Котошихина слишком хорошо известен, чтобы о нем нужно было распространяться. С интересующей нас точки зрения, он любопытен, между прочим, тем, что первый пытается объяснить исторические перемены как результат *личной* деятельности. Возникновение Московского государства для него — дело личной завоевательной политики Ивана Грозного; если с

царя Алексея не взяли записи, ограничивающей его власть, это результат его личного характера — «разумели его гораздо тихим». У крупнейшего историка петровской эпохи князя Б. И. Куракина мы встречаем тот же прием в размерах несравненно более грандиозных. В «Истории царя Петра Алексеевича» мы уже среди полного «Возрождения», как и на маскарадах Петра. К писаниям князя Куракина необыкновенно идет такая случайная мелочь, как любовь автора к итальянским цитатам. Когда вы читаете его, образ великого итальянского историка неотразимо встает перед вами, и, может быть, ничем нельзя лучше измерить *сравнительную* глубину подлинного Ренессанса и его отдаленной и бессознательной русской копии, как сравнил «Историю Флоренции» Макиавелли<sup>14</sup> с куракинской «Историей». Там с захватывающим драматизмом при всей кажущейся сухости и сдержанности описывается, как флорентийский народ добыл себе свободу — и потерял ее. Здесь так же трезво, сжато и метко рисуются перед нами разные «случайные люди», интригами захватывавшие власть и благодаря интригам других терявшие ее. Там огромный амфитеатр, который был бы, пожалуй, впору и древнему Риму, — здесь крошечная домашняя сцена. И благодаря ее узким размерам, благодаря ничтожному числу действующих лиц индивидуалистическая точка зрения подходила ко всей обстановке еще лучше. У Макиавелли за лицами слишком хорошо видны партии и еще глубже классы — недаром он стал одним из предшественников современного «экономического материализма». Нет историка, который был бы дальше от идеализации действительности, более «материалистом» в своем миропонимании, чем князь Куракин; но «экономизму» у него нечем поживиться. Он не знает других мотивов, кроме эгоистических, других источников общественных перемен, кроме личной воли. Нужно ли ему объяснить стрельцкий бунт — это, конечно, интриги царевны Софьи. А потом она же, «учиня по своему желанию все через тот бунт, начала трудиться, дабы оный угасить и покой восставить, и на кого ни есть сие взвалить»: и вот вам простое объяснение «Хованщины». Но так как Софья Алексеевна была «принцесса ума великого», то «никогда такого мудрого правления в Российском государстве не было». И экономическое, и культурное развитие Московского государства в конце XVII века объясняется именно этим и ничем другим. «Все государство пришло во время ее правления, через семь лет, в цвет великого богатства. Так же умножилась коммерция и всякие ремесла, и науки почали быть восставлять латинского и греческого языку». Петр любил иностранцев; это опять лич-

ное влияние князя Бориса Алексеевича Голицына. «Оной есть первым, который начал с офицерами и купцами-иностранцами обходиться. И по той своей склонности к иноземцам оных привел в откровенность ко двору и царское величество привел к ним в милость». Стали носить немецкое платье — Куракин опять умеет закрепить эту перемену собственным именем. «Был один англичанин — торговый, Андрей Кревет, который всякие вещи его величеству закупал, из-за моря выписывал и допущен был ко двору. И от оногo первое перенято носить шляпочки аглинские как сары (sir) носят, и камзол, и кортики с портупьями». Казалось бы, что может быть менее индивидуально, чем пьянство и разврат? Но Куракин и тут не затрудняется найти виноватого. «В то время названный Франц Яковлевич Лефорт пришел в крайнюю милость и конфиденцию интриг амурных. Помянутой Лефорт был человек забавной и роскошной или назвать дебошан французской. И непрестанно давал у себя в доме обеды, супе и балы. И тут в его доме первое начало учинилось, что его царское величество начал с дамами иноземскими обходиться и амур начал первой быть к одной дочери купеческой, названной Анна Ивановна Монсова. Правда, девица была изрядная и умная. Тут же в доме (Лефорта) началось дебошество, пьянство так великое, что невозможно описать, что по три дня запершись в том доме бывали пьяны и что многим случалось оттого умирать. И от того времени и по сие число и донныне пьянство продолжается, и между великими домами в моду пришло». И не приходит в голову Куракину, что не от Лефорта же выучились старый «князь-кесарь» Федор Юрьевич Ромодановский<sup>5</sup>, который был «пьян по вся дни», или «невоздержной к питию» царский дядя Лев Кириллович Нарышкин.

Но индивидуализм эпохи преобразований нашел себе выражение не только в литературе, а и в *праве*: в двух законах, которые оба, правда, относятся, пожалуй, более тоже к литературе, ибо оба остались мертвою буквой. Это закон 1714 года о майорате и указ о престолонаследии 1722 года. Обе меры, несомненно, стояли во внутренней связи, так как петровский «майорат», как известно, вовсе не обозначал наследования всего имущества *старшим* сыном, а наследование его *одним* из сыновей, по выбору отца, с устранением остальных. В этом праве отца распорядиться имуществом по своему усмотрению и заключалась, по мнению Петра и его советников, вся суть института. Одна дошедшая до нас записка, информировавшая Петра насчет английских порядков, утверждает, что «по общему закону Аглинской земли отцы могут отлучить и отнять от своих детей все земли,

которые им не суть определены чрез духовную или инако, и могут они отдать все токмо одному сыну, а другим ничего, еже *содерживает детей в должности и послушании*». Манифест 1722 года только воспроизводит это — нет надобности говорить, совершенно ошибочное — мнение об «общем законе Аглинской земли», когда он говорит: «дабы всегда сие было в воле правительствующего государя, кому оной хочет, тому и определит наследство, и определенному, видя какое непотребство, паки отменит, *дабы дети и потомки не впали в такую злость, как выше писано, имея сию узду на себе*». Совпадение настолько буквальное, что не нужно даже тут же имеющейся ссылки на закон 1714 года, чтобы видеть связь: и там и тут для Петра важно было расширить предел отцовской власти, стеснявшейся и в том и в другом случае действовавшими в России обычаями. Как вотчиной, так и царским престолом в Московском государстве нельзя было распоряжаться по *личному* усмотрению. Выбирая на престол Михаила Федоровича, выбрали в сущности *семью* Романовых, и старший член семьи, так сказать, автоматически становился государем по смерти отца. Эта автоматичность казалась Петру «недобрым, старым обычаем» — хотя именно она и лежала в основе английского майората, который он ценил за то, чего в нем не было, — и он *семейное* достояние, каким была в России земля, стремился превратить в *личное*, каким было движимое имущество, товар и деньги. В этом проникновении буржуазных взглядов в сферу наследования земель и престолонаследия, в самую гущу феодального права, так сказать, огромный культурный интерес обоих неудавшихся законов. И заимствование было не совсем бессознательное: подготовляя указ 1714 года, требовали от русских агентов за границей сведения о «наследствах и разделе оных» не только «знатнейших, графских, шляхетских», но и «купецких фамилий» \*.

«Индивидуализм» петровской эпохи так же мало должен нас, однако ж, обманывать, как и индивидуализм итальянского Возрождения. Литература — ей все дозволено идеализировать — может, конечно, представлять героев последнего не только смелыми и красивыми, но и утонченными и изящными, глубокомысленными и образованными даже на взгляд читателя XX столетия. Историк такого права не имеет, и ему приходится констатировать, что удовольствия этого времени были крайне грубы, как мы это уже видели, что философия гуманистов была смесью самых наивных предрассудков, завещанных средними

\* См.: Павлов-Сильванский Н. Проекты etc. С. 51.

веками, с наскоро подхваченными и неперевавленными обрывками античной мудрости и что самые блестящие синьоры, покровительницы гуманизма, иногда не умели писать. Насчет интеллектуальной высоты петровской культуры, к счастью, даже и предрассудков не существует, и к Академии наук тех дней принято относиться даже с большим, может быть, скептицизмом, чем она того заслуживает. Научные интересы самого Петра — если о них можно говорить — не шли дальше собирания «монстров» и «опытов» вроде попытки создать породу высоких людей, поженив добытую откуда-то царем «чрезмерно высокую» финку с показывавшимся в балаганах за деньги французским великаном. И ремесло цирюльника, в те простые времена заменявшего и дантиста, и фельдшера, вовсе не казалось преобразователю России ниже его достоинства: после катанья на яхте и работы с топором или за токарным станком ничто, кажется, не доставляло Петру такого удовольствия, как рвать зубы. Так как его пациентам это доставляло, по-видимому, удовольствие не столь сильное, то на царских денщиков ложилась деликатная обязанность отыскивать царю случаи для упражнения в зубоврачебном искусстве. Берхгольц рассказывает, с каким трудом ему удалось спасти его собственные зубы, когда он имел неосторожность пожаловаться в присутствии одного из этих своеобразных соглядатаев на зубную боль. Насчет звания пациентов царь совсем не был разборчив, и его медицинских визитов в качестве дантиста удостоивались не только придворные или иноземные купцы, но даже прислуга этих последних. Не менее чем рвать зубы, любил он выпускать воду у страдавших водянкой. Окружавшая Петра среда была еще примитивнее в этом отношении. Петр, хотя до конца жизни писал, даже со старорусской точки зрения, ужасающе безграмотно, все же любил читать и читал не только порусски. Он внимательно следил за голландскими газетами того времени, отмечая в них то, что его интересовало, выписывал из-за границы и книги. Два первых после него лица в государстве, Екатерина и Меншиков, едва ли не были вовсе безграмотными; современники, по крайней мере, весьма твердо стоят на том, что последний в искусстве письма не пошел дальше уменья вывести свою фамилию, а о первой сохранилась легенда, что впоследствии, когда она стала самодержавной императрицей, указы подписывала за нее ее дочь, цесаревна Елисавета. Повторяем, образованность петровского общества вряд ли кто и станет преувеличивать; но мы с трудом представляем себе простоту нравов эпохи. Звания министров, фельдмаршалов и «кавалеров» невольно гипнотизируют нас, и мы склонны видеть в петровском

дворе что-то все-таки «европейское», хотя бы и на тогдашний лад. Тогдашние европейцы, даже сами еще не очень далеко ушедшие по части внешней культурности, как немцы, должны были легко освободиться от этой иллюзии. Вот, например, сценка, которую мы передадим словами все того же словоохотливого голштинского камер-юнкера, который так любил описывать петровские маскарады. Был пир у князя Ромодановского, где собралась «вся русская знать». Царь уже уехал, когда у «князя-кесаря» и одного из его гостей, не менее знаменитого князя Долгорукого, затеялась ссора: один припомнил другому какую-то старую обиду, и Долгорукий отказался выпить, что подносил ему Ромодановский. «Тогда оба эти старика, обменявшись многочисленными отвратительнейшими ругательствами, вцепились друг другу в волосы и добрых полчаса колотили друг друга кулаками, причем никто из присутствовавших в это не вмешивался и не пытался их разнять. Князь Ромодановский, который был очень пьян, оказался побежденным; тогда он призвал караульных солдат и, хозяин в своем собственном доме, приказал арестовать Долгорукого. Когда последнего освободили, он отказался идти из-под ареста и требовал будто бы у императора сатисфакции. Но дело, конечно, так и замрет, потому что подобные кулачные расправы в пьяном виде здесь случаются слишком часто и о них даже и не говорят». Действительно, картину вцепившихся друг другу в волосы царских министров мы и еще раз встречаем на страницах дневника Берхгольца; на этот раз дело происходило в присутствии голштинского герцога, который, понимая обычай страны, отвернулся и сделал вид, что он ничего не замечает. А у Корба мы находим почти такую же сцену между Ромодановским и Апраксиным, будущим петровским генерал-адмиралом; только последний под свежим впечатлением своих заграничных знакомств, должно быть, поступил более «по-европейски» — обнажил шпагу, чем страшно напугал Ромодановского, привыкшего к тому, что дело кулаками и оканчивается.

Когда мы присутствуем потом при столь патриархальных сценах, как прием царевной Прасковьей иностранных посетителей в одной рубашке — причем пока «принцесса» протягивала для целования свою руку, другой рукой она прикрывала свою наготу наскоро взятой у одной из придворных дам мантильей, — или при домашнем спектакле у той же царевны и ее сестры, мекленбургской герцогини Екатерины Ивановны<sup>15</sup>, где вдруг обнаружилось, что исполнитель главной роли какого-то короля только что получил 200 ударов батогами, а затем сряду, как ни в

чем не бывало, достоин чести играть не *перед*, а *вместе* с их высочествами, — все это на нас уже мало действует. Знаменитая «дубина Петра Великого» начинает рисоваться нам в ее реальной обстановке. С людьми настолько «простыми» и не Петр не стал бы церемониться. И современники отмечали только те случаи, когда дубина касалась уже очень заметных людей или когда последствия ее применения неожиданно оказывались трагическими. Когда царь нечаянно отправил на тот свет солдата, укравшего кусок меди с пожара, об этом заговорили в городе и случай поразил иностранцев, саксонского резидента Лефорта, например, который нам его и передает. Но едва ли правильно он из этого делает заключение, что Петр «не отличался гуманным характером». Это правда, конечно, но данный случай еще отнюдь не выходил из ряда. Или приближенный царский холоп, токарь Нартов, не может отказать себе в удовольствии вспомнить, как при нем дубинка гуляла по спине Меншикова либо других именитых персон. «Я часто видал, — будет он рассказывать потом, — как государь за вины знатных чинов людей здесь (в токарной) дубиною потчивал, как они после сего с веселым видом в другие комнаты выходили и со стороны государевой, чтобы посторонние сего не приметили, в тот же день к столу удостоиваемы были». Да еще, пожалуй, какой-нибудь наивный провинциал вроде новгородского бургомистра Сыренского, познакомившись с придворным бытом, мог обмолвиться сентенцией: «Кто с Христом водился, те без головы стали, а кто с царем поводится, те без головы и без спины будут». Но сами члены петровского двора и сам Петр считали, что дубина — самый мягкий вид наказания, даже не наказание, а, так сказать, напоминание о возможности быть наказанным. «Теперь в последний раз дубина, — говорил царь Меншикову после одной «тайной» сцены из описанных Нартовым, — ей, впредь, Александр, берегись!»

У этой грубости, если к ней присмотреться, были свои характеристические черты. Вот одна из сцен, какие можно было видеть на праздниках в Летнем саду. «Вскоре после пришло несколько злых апостолов, внушавших почти всем страх и трепет; я имею в виду шесть или около того гвардейских grenадеров, которые по двое несли на носилках большую лохань с самым простым хлебным вином, издававшим столь сильный запах, что многие его чувствовали, когда grenадеры находились еще в другой аллее, более чем за сто шагов от них. Когда я увидел, что сразу много народу убежало, как будто увидели черта, я спросил стоявшего рядом со мной приятеля: что с этими людьми случи-



лось, почему они исчезли так поспешно? А тот уж схватил меня за руку, показал мне на вошедших молодцов, которых я было сначала не заметил, и мы пустились бежать со всех ног, что было очень благоразумно, так как я вскоре затем встретил нескольких, которые горько жаловались на свою беду, не будучи в состоянии прогнать из своего горла вкуса водки. Итак, как меня уже предупреждали, что множество шпионов должны были наблюдать за тем, все ли получили горькую чашу, то я не доверял ни одному человеку, но притворялся еще более потерпевшим, чем те. Но одна бессовестная шельма легко сумела проверить, пил я или нет, попросив меня дохнуть. Я ответил, что это бесполезно, так как я уже выполоскал рот водою, на что он возразил, чтобы я ему такого не рассказывал: он знает, что тут ничто не может помочь, хоть возьми в рот корицы или гвоздики, все равно не меньше 24 часов будет вонять водкой изо рта, а от вкуса не отделаешься и еще более долгое время и что я это должен бы тоже испробовать на себе, чтобы иметь возможность как следует рассказывать о здешних праздниках. Я с благодарностью отказался, указывая на то, что я совершенно не могу пить водки; но все это было бы тщетно, если бы то не был мой добрый друг, прикинувшийся фискалом, чтобы меня подразнить. Но если кто попадет в когти к настоящему, ему не помогут ни просьбы, ни слезы: нужно будет подчиниться, хотя на голову становись. Так как от этой обязанности не освобождаются даже самые нежные дамы, потому что и сама царица иногда пьет вместе с другими. За лоханью с водкой всюду следовали майоры гвардии, чтобы принудить пить тех, кто не слушался простых гренадеров. Нужно было пить из чашки, которую подает один из рядовых — в нее входит добрый пивной стакан, но не для всех ее наливают одинаково полно — здоровье царя; они это называют “за здоровье нашего полковника”, но это одно и то же. Когда я потом расспрашивал, почему именно (для этого) раздают такой скверный продукт, как эта водка, мне отвечали, что делается это отчасти потому, что русские больше любят простое хлебное вино, чем все данцигские и французские водки в мире. Другая же причина — *любовь к гвардии, которой Царь не знает уж как польстить* (nicht gnugsam zu schmeicheln wisse), ибо он часто говорит, что среди его гвардейцев нет ни одного, которому он свободно и без опасности не мог доверить свою жизнь» \*.

\* Берхгольц «Büschings Magazin XIX». S. 44 fl. — Это единственное издание «Дневника», которое нам было доступно, русского перевода под руками мы не имели.

Гвардия составляла неизменный фон всех празднеств. Рядом с Летним садом, где веселился двор, на Царицыном лугу<sup>16</sup> постоянно можно было видеть ее темно-зеленые каре, пестревшие красными воротниками преображенцев и синими семеновцев. И среди них нередко виднелась высокая фигура самого царя, потчующего водкой своих солдат раньше, чем они пойдут потчевать своим напитком министров и камергеров. К этим гостям Царицына луга Петр был куда внимательнее, нежели к гостям Летнего сада. Те должны были смиренно подчиняться царской прихоти — пить, когда царь прикажет, танцевать, когда он этого хочет. Сколько раз бывали случаи, что Петр отлучался с раута отдохнуть (он всегда спал среди дня) либо по какому-нибудь делу; но он хотел, вернувшись, найти веселье в полном разгаре, и ко всем выходам Летнего сада ставились гвардейские часовые, никого не выпускавшие ни под каким предлогом. Раз во время такого бала под арестом полил дождь как из ведра; крытых галерей было слишком мало, чтобы вместить всех гостей, и большая часть из них вымокли до нитки. Но в то время как в Летнем саду все должны были дожидаться царя и без его повеления бал не смел кончиться, на Царицыном лугу царь должен был терпеливо ждать, пока кончится вся военная церемония. В свои именины, 29 июня 1721 года, Петр был чем-то очень расстроен; он тряс головой и дергал плечами, что было у него всегда признаком сильного волнения; на придворных, собравшихся его поздравить, еле взглянул и прямо прошел к гвардейскому каре. Однако и тут он не мог оставаться долго; прослушав первый салют, он хотел уйти. Но гвардия должна была повторить салют три раза; Меншиков догнал уходившего царя и напомнил ему об этом; Петр вернулся и достоял до конца салюта. Естественно, что после этого голштинский придворный не без самодовольства рассказывает, как эта гордая гвардия отдавала честь его государю, заботливо прибавляя, что большей чести от нее не удостоивается и сам русский царь: гренадерские офицеры и ему только делали «под козырек», но не обнажали шпаги, как было в обычае перед высочайшими особами. И тут для преображенцев «их полковник» шел впереди императора всероссийского.

В нашей исторической литературе прочно укоренилась характеристика Петра Великого как «царя-мастерового». Действительно, царь на корабельной верфи с топором или рубанком в руках — картина более редкая и потому более эффектная, нежели царь на плацпараде. Но если не гнаться за эффектами, придется признать, что солдатом Петр стал гораздо ранее, нежели «мастеровым», и что барабанную науку он изучал в свое время с

не меньшим рвением, нежели впоследствии ремесло корабельного плотника. Причем последнее вовсе не вытеснило из его головы первого. Тотчас по своем возвращении из первого заграничного путешествия под свежим впечатлением саардамской верфи Петр раньше, чем повидал царицу и царевича, успев захватить только в Немецкую слободу, отправляется смотреть свои войска. «Как только он убедился, насколько далеки эти полчища от настоящих воинов, он показывал им различные жесты и движения на самом себе, уча наклоением собственного тела, какую телесную выправку должны стараться иметь эти беспорядочные массы» (Корб).

А барабан оставался его любимым инструментом до конца жизни, как мы знаем. Все его удовольствия носили резко выраженный военный характер, от всех них «пахло порохом». Доказывая (в 1710 году), что у царя достаточно средств для продолжения шведской войны, австрийский резидент Плейер<sup>17</sup> приводит такое соображение: «Уж два года не работает ни одна пороховая мельница, потому что имеется еще в полной готовности большой запас пороха, несмотря на то, что при обучении рекрутов, как только они научатся обращаться с ружьями, происходит непрерывная сильная стрельба, а когда царь, или наследник, или кн. Меншиков в Москве или в деревне, за всяким почти обедом, при каждом тосте за чье-нибудь здоровье, во время бала и танцев, в дни именин или рождения, или по случаю самой хотя бы ничтожной победы непрерывно стреляют из ружей». Описания роскошных петровских фейерверков — на каждом шагу в современных мемуарах; ими восхищались задним числом люди, хорошо знавшие Европу, как князь Куракин. Пирует ли царь у Лефорта, спускает ли корабль, идет ли маскарад по улице Москвы — мы слышим непрерывную пушечную пальбу. На новогоднем празднестве 1699 года «залп из двадцати пяти пушек отмечал всякий торжественный задравный тост». Один из иностранных дипломатов видел в этой трате пороха на воздух серьезную статью расхода, порядком обременявшую государственный бюджет. А когда Петр развеселится, в нем гораздо сильнее сказывался буйный солдат (пьяный ландскнехт, если угодно: мы ведь так недалеко еще от тридцатилетней войны), нежели подгулявший мастеровой. В трезвом виде орудия дубинкой, во хмелю Петр легко брался за шпагу. На одном пиру у Лефорта, под конец обеда разгневавшись на воеводу Шеина, «царь распалился так, что, нанося обнаженным мечом без разбору удары, привел в ужас всех собеседников; князь Ромодановский получил легкую рану в палец, другую — в голову; у Никиты Мои-

сеевича (Зотова, «всешутейшего патриарха») при движении меча наотмашь была повреждена рука; гораздо более гибельный удар готовился воеводе, который, несомненно, упал бы от царской десницы, обливаясь собственной кровью, но генерал Лефорт (которому почти одному это позволялось), обняв царя, отвел его руку от удара. Царь, однако, пришел в сильное негодование от того, что нашлось лицо, дерзнувшее помешать последствиям его вполне справедливого гнева, тотчас обернулся и поразил неуместно вмешавшегося тяжелым ударом в спину; поправить дело могло одно только лицо, занимающее первое место среди москвитян по привязанности к нему царя. Говорят, что этот человек вознесен до верха всем завидного могущества из низшей среди людей участи. Он успел так смягчить царское сердце, что тот удержался от убийства, ограничившись одними угрозами. Эту жестокую бурю сменила приятная и ясная погода». Этот благодетельный чародей, которого Корб не называет, был Меншиков; цитированное нами место — одно из тех, на которых основано известное уже нам представление о характере отношений между Петром и его «Алексашкой».

Была ли эта любовь к военщине и солдатские замашки только делом личной склонности, или Петр сознательно шел в этом направлении? Не надо забывать, что в те времена еще не было на свете «великого Фридриха», который «сделал всех королей кап-ралами»; солдатская наука тогда еще не была королевской наукой по преимуществу. Из предшествующих русских царей ни один, кроме Названного Димитрия, не был любителем военного дела. Известную роль тут должно было сыграть детство Петра, прошедшее под впечатлением только что закончившихся дол-голетних войн царя Алексея: у прежних царевичей едва ли было столько военных игрушек. Борьба за Малороссию и война со шведами должны были сильно расшевелить задремавшие после Смуты милитарные инстинкты московского высшего общества. Но помимо инстинктов современники или очень близкие потомки усматривали в милитаризме Петра серьезную политическую сторону — не ту притом, какая выдвигается обыкновенно. Мы уже упоминали мимоходом о замечании Фоккерода, как Петр «достаточно убедился из опыта, какую сильную опору монархической власти представляет регулярная армия» и как именно благодаря этому он «в особенности и со всем усердием предался улучшению своих войск». Влиянию военных потребностей в тесном смысле Фоккерод отводит лишь второе место. Как известно, старый предрассудок, будто Петр был создателем регулярной армии в России, давно пора бросить: первые полки «иноземного

строю» появляются у нас еще при Михаиле, а в малолетство Петра они вместе со стрельцами, которые тоже были ближе к постоянному войску, нежели к феодальному ополчению, составляли уже подавляющее большинство русской армии\*. Правда, это было плохое регулярное войско, вероятно, вроде турецких или персидских солдат первой половины XIX столетия. Тем не менее солдатскую науку Петр нашел в России уже готовой, и петровская гвардия с военно-технической точки зрения была еще меньше «открытием», чем «дедушка русского флота» с точки зрения морской техники. Но ее задача и не была военно-технической. Присмотритесь к ходу ее постепенного развития, как он отчетливо выступает в «Истории» Куракина. Сначала было 300 «потешных»; эти завелись случайно, действительно для потехи: едва ли тут был серьезный расчет. Но в столкновении с Софьей потешные оказываются не шуточной силой, на которую можно опереться, — ведь и противники считают своих приверженцев среди стрельцов тоже только сотнями. И вот «по возвращении из Троицкого походу 7197 (1689) году», т. е. после своего бегства из Преображенского к Троице и расправы с Софьей, Голицыным и Шакловитым<sup>18</sup>, Петр «начал набирать свои два полка, Преображенской и Семеновской, формально». Для семнадцатилетнего царя это были по-прежнему игрушки, но для партии Нарышкиных и для Бориса Алексеевича Голицына, фактического автора *coup d'état* 1689 года, это была серьезная военно-полицейская сила, которую можно было противопоставить в случае надобности ненадежным стрельцам. Десять лет спустя гвардии и пришлось сыграть именно эту роль. Преображенцы и Семеновцы с самого начала были нужны против внутреннего врага: против внешнего их двинули уже позднее.

Это происхождение гвардии объясняет нам и ее значение при Петре. Гвардейские офицеры играли роль, очень близкую к жандармским офицерам времен Николая Павловича<sup>19</sup>. Все более или менее интимные расследования о казнокрадстве в иных злоупотреблениях ближайших к Петру лиц производились при их участии. Так, фискальские доносы на князя Я. Ф. Долгорукого разбирала комиссия, состоявшая из майора Дмитриева-Мамонова, капитана Лихарева, капитан-поручика Пашкова и поручика Бахметева. Перед учреждением генерал-прокуратуры

---

\* Цифры см. у г. Милюкова, с. 52. В походе 1681 года на 16 приблизительно тысяч дворян и детей боярских московских и городских приходилось 30 тыс. конницы и 60 тыс. пехоты иноземного строя кроме 22 тыс. стрельцов.

Петр думал из гвардейских штаб-офицеров создать орган для надзора над всем Сенатом. Гвардейские майоры должны были присутствовать в заседаниях Сената и следить за тем, чтобы сенаторы вели дела как следует; увидя же что-нибудь «противное сему», могли виновного арестовать и отвести в крепость (Петропавловская крепость уже тогда, по словам Фоккерода, играла роль не столько военную — она никого и ничего не обороняла, — сколько полицейскую: была «своего рода Бастилией»). Немудрено, что члены Сената «вставали со своих мест перед поручиком и относились к нему с подобострастием», как с удивлением сообщал французский агент Лави, не без основания находивший, что «достоинство империи» от того «унижено». Но подобострастие сенаторов перед поручиком было ничем сравнительно с положением, в какое была поставлена относительно последних провинциальная администрация. Гвардейские офицеры, посылавшиеся в губернию, в случае неисполнения их требований имели право «как губернаторов, так и вице-губернаторов и прочих подчиненных *сковать за ноги и на шею положить цепи* и по то время их не освобождать, пока они изготовят» требуемые гвардейцами отчеты. Позже такое же право было предоставлено не только офицерам, но и унтер-офицерам. Какую картину представляла под унтер-офицерским иглом Москва (не какой-нибудь медвежий угол!), весьма живо рисует одно письмо известного петровского дипломата гр. Матвеева. «Присланный из Камер-коллегии унтер-офицер, именем Пустошкин, — рассказывает он, — жестокою передрагу учинил и всю канцелярию опустошил, и всем здешним правителям, кроме Военной коллегии и юстиции, *не только ноги, но и шею смирил цепями*. Между которыми здешний *вице-губернатор* господин Воейков токмо ответственствовал тому нарочно присланному, что он послушен на цепь идтить, однако ж, чтобы прежде сказана была ему вина, чего тот, Пустошкин, учинить не дерзнул без указа Военной коллегии. Однако ж он, вице-губернатор, от него, Пустошкина, равно в той губернской канцелярии при такой же тесноте содержится, как и прочие... Я, тех узников по должности христианской посещая, воистину с плачем видел в губернской канцелярии здешней, что множество детей и женщин и честных особ, сидящих в них, и токи слез превосходящие галерных (каторжных) прямых дворов». Это было в Москве, и главным обиженным являлся вице-губернатор и бригадир, нашедший себе заступника в лице близкого к царю человека, недавнего посланника при дворе одной из великих держав, какой тогда была Голландия, почти что одного из «верховных господ». Что терпели в глухой провин-

ции, можно судить по жалобе вятского камерира на тамошнего «солдата» Нетесева. Этот Нетесев, рассказывает камерир, «приходит в канцелярию пьяный не в указанные часы... ночью во втором и в третьем часах и караульных капралов и часовых солдат бьет палкою, а нам, не объявляя вины и без всякий причины, держит нас под арестом по часту, а другим временем и скованных и, забрав вятских обывателей, как посадских, так и уездных лучших людей, которые бывали в прошлых годах у таможенных и питейных сборов бурмистрами, головами и ларешными, держит под земскою конторою за караулом и скованных, где преж сего держаны были тоже и разбойники, и берет взятки». «Этот солдат, — прибавляет исследователь, у которого мы заимствуем эти рассказы, — доходил до какого-то опьянения властью, которое, кажется, совпадало у него с опьянением водкой. Многократно говорил похвальные речи, что-де он, “пришел в канцелярию, камерира и его секретаря, сковав, замучит в железах до смерти; а если-де они в железа сами не скуются, и теми железами будет их бить и головы испроломает”. Желю секретаря он грозился шпагою изрубить на мелкие части и исполнить это свое намерение поклялся, приложившись к образу спасителя при свидетелях» \*.

Буржуазное сверху, петровское общество продолжало оставаться военным в своей сердцевине. Упоминание о «солдатах» может внушить читателю иллюзии, будто речь идет о чем-то новом, о какой-то военной демократии. Ничуть не бывало: «князья и простые дворяне» составляли ядро петровской гвардии. Этот факт сразу бросался в глаза иностранным наблюдателям, и они старались по-своему его объяснить. «Он ласков со всеми, — говорит французский дипломат Кампредон, — а преимущественно с *солдатами*, большую часть которых составляют дети князей и бояр, служащие ему как бы залогом верности своих отцов». Дворянство уже при Петре, таким образом, начало вырабатывать себе тот центральный орган, который помог ему захватить снова власть в свои руки в течение следующих царствований. Тонкая буржуазная оболочка также мало изменила дворянскую природу Московского государства, как немецкий кафтан природу московского человека. Когда Петр умер, между дворянством и властью стояла только лишенная социальной опоры в массах группа «верховных господ» — штаб без армии,

---

\* Богословский М. Областная реформа Петра Великого. М., 1902. С. 311—321.

потому что новой буржуазной армии она не смогла себе создать, а старое служилое сословие в преображенском мундире только и ждало удобной минуты, чтобы «голова разбить боярам»...

## 6. АГОНИЯ БУРЖУАЗНОЙ ПОЛИТИКИ

Служебной силе удалось сделаться силой политической очень скоро: Петр не успел закрыть глаза, как гвардия была уже хозяйкой положения, и не только в императорском дворце. Без ее согласия нельзя было занять русского престола. Гвардейцы пропускали на место «своего полковника» только того, кого они хотели.

Набег торгового капитализма на Россию обошелся ей очень дорого, и не только в смысле затрат людьми и деньгами. Без таких затрат не обходится никогда «активная политика», и в этом специально отношении Россия 1725 года ничем существенно не отличалась от Франции в момент смерти Людовика XIV, от Пруссии по окончании Семилетней войны или даже от Англии при конце ее борьбы с Наполеоном. Население было разорено и разбежалось, притом с довольно давнего уже времени. Уже к 1710 году убыль населения сравнительно с последней допетровской переписью составляла, по наблюдениям г. Милюкова, местами 40%. Как бы ни мало были надежны цифры тогдашней статистики (переписи 1710 года не доверяли уже современники), общее впечатление они дают достаточно определенное, особенно там, где их сопровождают словесные комментарии. Об Архангелогородской губернии официальный документ замечает, что «убылые дворы и в них люди явились для того: взяты в рекруты, в солдаты, в плотники, в С.-Петербург в работники, в переведенцы, в кузнецы». Из 5356 дворов, «убывших» в Пошехонье, от рекрутчины и казенных работ запустел 1551, а от побегов 1366\*. Иностранцам казалось, что центральные области государства совершенно обезлюдели благодаря Северной войне, и хотя это мнение нуждается в такой же оговорке, как и утверждение тех же иностранцев, будто подмосковный суглинок принадлежит к «лучшим землям в Европе», в этом суммарном впечатлении не все было фантазией. Один документ 1726 года, под которым стоят подписи «верховных господ» почти в полном составе, без спора принимает к сведению такие «резоны» непла-

\* См.: Милюков. Государственное хозяйство России и реформа Петра Великого. С. 247—249.



тельщиков подушной подати: «что-де после переписи многие крестьяне, которые могли работою своею доставать деньги, померли и в рекруты взяты и разбежались... а которые ныне работою могут получать деньги на государственную подать, таких осталось малое число». Не спорили «верховные господа» и против ссылок на упадок крестьянского хозяйства: «к тому же-де уже несколько лет хлебные недороды, и во многих местах крестьяне зело мало сеют хлеба, а которые и сеют, и то на государственные подати принуждены бывают и в земле хлеб продавать и от того ищут случая бежать в дальние места, где бы их сыскать было невозможно». Но уже в этой второй цитате мы имеем объяснение крестьянского разорения не от политических причин, и по понятным соображениям казенная бумага молчит о причинах социальных, которые, однако, хорошо были видны иностранцам, отводившим в деле опустошения центральной России «жестокому обращению господ» одинаковое место с Северной войной. Банкротство петровской системы заключалось не в том, что «ценою разорения страны Россия была возведена в ранг европейской державы», а в том, что, несмотря на разорение страны, и эта цель не была достигнута. Иностранцы, состоявшие на русской службе, оценивали могущество петровской империи далеко не так высоко, как иностранцы, смотревшие издали, и как позднейшие историки. Миних в интимном разговоре с прусским посланником Мардефельдом не скрывал от него, что русские войска находятся в весьма плачевном состоянии: офицеры никуда не годятся, между солдатами много необученных рекрут, кавалерийских лошадей вовсе нет — словом, появившись вторично противник вроде Карла XII, он с 25 тыс. человек мог бы справиться со всей «московитской» армией. А это говорилось всего через два года после так блестяще отпразднованного Ништадтского мира! Не лучше был флот, в котором куда-нибудь годились только галеры, очень практичные для мелкой войны в финских шхерах, но не для открытого моря. Корабли строились для скорости из сырого леса и чрезвычайно быстро гнили в пресных водах кронштадтской гавани. Это была одна из главных причин попытки Петра перенести стоянку своего флота в Рогервик (позже «Балтийский порт», около Ревеля), расположенный вблизи открытого моря, где вода была соленая. Но петровские инженеры не умели справиться с крупной волной, и каждая сильная буря, разметав все построенное ими, возвращала дело к исходной точке, так что постройка Рогервика стала синонимом египетской работы. Личный состав флота был не лучше его материальной части. В своих «гардемаринах», учившихся за гра-

ницей, Петр скоро разочаровался, и в конце царствования за границу более уже не посылали. А о положении матросов хорошее представление дает донесение одного иностранного дипломата своему правительству, относящееся как раз ко времени великолепных маскарадов, которыми праздновалась победа над шведами. «В видах предупреждения беспорядков и охранения спокойствия количество стражи в здешней резиденции удвоено. Мне говорили, что причина множества предосторожностей, принимаемых по этому случаю, заключается в том, что весьма значительное число матросов, которым не заплачено жалованье, несмотря на отданное царем перед отъездом приказание расплатиться с ними, не имея куска хлеба, составили заговор: собраться толпою и грабить дома жителей здешней резиденции».

А в то же время Россия была накануне новой войны. Тот же торговый капитализм, который заставил Петра биться двадцать лет за Балтийское море, теперь гнал его на Каспийское. Ништадтский мир еще не был заключен, а у Петра была уже готова новая подробная карта этого моря, за которую французская академия избрала царя своим членом. Составившие карту офицеры привезли, по словам иностранных дипломатов, важное известие, что те места, где главным образом сосредоточено производство шелка, находятся около самой границы царских владений. «Здесь все льстят себя надеждой, что, так как у персиян нет ни одного морского судна, можно будет большую часть шелковой торговли привлечь сюда и извлекать из этого большой доход», — писал прусскому королю его посланник. Открыл эту Америку только прусский дипломат: при русском дворе не могли, конечно, забыть «величайшей торговли в Европе», на которую в XVII веке было столько охотников. Персидский поход Петра был необходимым дополнением к насаждавшимся им шелковым мануфактурам. Год спустя об этом говорили уже вполне определенно. «Царь хочет иметь для безопасности своей торговли порт и крепость по ту сторону Каспийского моря и желает, чтобы шелки, которые посылались обыкновенно в Европу через Смирну, шли отныне на Астрахань и Петербург», — писал весной 1722 года другой дипломат, который скоро потом услышал подобное же объяснение из уст самого Петра, только царь говорил, разумеется, не о захвате шелковой торговли русскими, а о «свободе» этой торговли. Едва кончились военные действия против шведов, как участвовавшие в них войска начали стягиваться к Москве, а оттуда далее — к берегам Дона и Волги. На этой последней быстро вырос военный и транспортный флот, для которого 5 тыс. матросов было перевезено из Кронштадта

через Москву в Нижний. В предлоге для войны, как водится, не оказалось недостатка. В Шемахе ограбили царских гостей не то на пятьдесят тысяч, не то на пятьсот; позже говорили уже о трех миллионах. Притом царский гость был так близок к правительственному чиновнику, что нельзя было не усмотреть здесь прямого неуважения к достоинству русского государя. Правда, ограбившие были мятежниками и против своего государя — персидского шаха, но тем меньше должен был сердиться последний на появление русских войск в его владениях. Для него же в конце концов восстанавливали порядок — он должен был это оценить, и при русском дворе надеялись даже, что шах, может быть, даром, из одной благодарности предоставит шелковую монополию России. Все эти радужные надежды, однако, скоро должны были поблекнуть. Если не само персидское правительство (в это время было и нелегко его найти, так как за шахский престол боролось несколько претендентов), то его вассалы на берегах Каспийского моря в союзе с горцами Дагестана оказали русским отчаянное сопротивление. Каспийский флот вышел не лучше балтийского и по большей части погиб от бурь. Борьба с климатом оказалось еще труднее, чем с бурями и неприятелем; болезни и конский падеж свирепствовали в русском лагере, и, отправившись в поход весною 1722 года, в январе следующего Петр уже возвращался в Москву, оставив на месте своих весьма скромных завоеваний «15 тыс. лошадей, более 4 тыс. человек регулярного войска, не считая гораздо большего числа казаков и миллиона рублей» \*. Но непосредственные потери были еще ничто сравнительно с тем, что грозило в будущем. Конкуренстка России в области шелковой торговли, Турция поняла каспийскую экспедицию Петра как прямую угрозу себе: одна война тянула за собою другую, и притом несравненно более опасную. Прутского похода не могли забыть ни царь, ни его министры; ожидание турецкой войны отравило последние месяцы жизни Петра, а когда он умер, начавшие править от его имени «верховные господа» не могли говорить о ней без тоски и скорби. Персидские завоевания представляли собою одну из самых неприятных частей Петрова наследства, от которой не знали, как избавиться, и не чаяли, чтобы это когда-нибудь удалось. «Войско, которое наряжено регулярное, надлежит в Персию послать, — меланхолически писал год спустя после смерти “преобразователя” его канцлер граф Головкин, — для того, что авось

---

\* *Кампредон*. Сборник Русск<ого> историч<еского> о-ва. Т. XLIX. С. 281.

либо они могут что будущим летом какие прогрессы учинить, и увидя то и силу нашу, турки и персиане инаково с нами поступать станут». Но другой из «верховных господ», Толстой, находил, что «регулярных войск прибавить туда сверх определенного числа не токмо трудно, но кажется и невозможно», и всю надежду возлагал на какого-то «грузинского принца», о котором «просят тамошние армяне»... «Когда принц грузинский в те страны прибудет, то, может быть, тамошних христиан к нему не малое число соберутся, понеже его там любят», — мечтал Толстой, выдавая этим «может быть» всю глубину отчаяния русской дипломатии. Персидский поход не был такой позорной неудачей, как прутский, но это было во всяком случае лопнувшее предприятие, и его жалкие результаты не в меньшей степени объясняют нам настроение Петра в последний год его жизни, чем та пустота, в которой почувствовал себя император после бесплодной борьбы с «растаскивавшими» Россию верховниками. Быть может даже, что и эта пустота стала ему заметной благодаря внешней неудаче, когда уже и триумфальными шествиями нельзя было закрасить дела и уверить себя, что все идет как следует. «Могу, как мне кажется, уверить в. в., — писал Кампредон Людовику XV в апреле 1723 года, — что как бы русские ни храбрились и с какой бы твердостью ни пускали пыль в глаза, они не в силах выдержать войну против турок ни со стороны Персии, ни со стороны Азова. Русские финансы плохи, и голод дает себя чувствовать весьма сильно. Кавалерия без лошадей, ибо они погибли все в последнюю кампанию, *а войскам за 17 месяцев не плачено жалованье*, чего в прошлую войну не случалось ни разу». Невероятный на первый взгляд факт неплатежа жалованья войску вполне подтверждается и русскими документами: 13 февраля 1724 года Сенат доносил государю, что «многие офицеры, а паче иноземцы, а такоже и русские беспоместные и малопоместные *от невыдачи им на прошлый год жалованья* пришли в такую скудость, что и экипаж свой проели». К концу царствования даже те, из-за кого голодала вся страна, были сами голодны... На склонных к пессимизму людей, каким был, например, саксонский посланник Лефорт, Петр производил в это время впечатление человека, который на все махнул рукою и запил с горя. «Я не могу понять положения этого государства, — писал Лефорт за шесть месяцев до смерти императора, — царь шестой день не выходит из комнаты и очень нездоров от кутежа, происходившего по случаю закладки церкви, которую окрестили 3 тыс. бутылок вина... Уж близко маскарады, и здесь ни о чем другом не говорят, как об удовольствиях, тогда

как народ плачет... Не платят ни войскам, ни флоту, ни коллегиям, ни кому бы то ни было; все ужасно ропщут» \*.

Смерть преобразователя была достойным финалом этого пира во время чумы. Петр умер, как известно, от последствий сифилиса, полученного им, по всей вероятности, в Голландии и плохо вылеченного тогдашними врачами. При гомерическом пьянстве петровского двора и лучшие врачи, впрочем, едва ли сумели бы помочь. Смерть пришла совершенно неожиданно для царя, хотя посторонние наблюдатели давно уже готовились к катастрофе, и настроение, которое он при этом обнаружил, весьма способно поколебать легенду о «железных людях». «В течение болезни он сильно упал духом, страшно боялся смерти (*le tout crainte de la mort*), но в то же время выказывал искреннее раскаяние, — пишет в своей подробной реляции о последних днях Петра французский посланник. — По его нарочитому повелению освободили всех заключенных за долги, большую часть коих он приказал выплатить из своих личных средств. Прочих заключенных и всех каторжников, кроме убийц и государственных преступников (!), он также приказал освободить; повелел молиться о себе во всех церквах различных религий и причащался три раза в течение одной недели». Он хворал достаточно долго, чтобы успеть составить завещание, которое логически вытекало из им же изданного закона о престолонаследии. Но боязнь смерти была так велика, что у него не хватало духу за это взяться, а у окружающих — напомнить ему об этом. Спихнулись, когда Петр был уже почти в агонии, но в каракулях, выведенных дрожащей рукой, смогли разобрать только два слова: «Отдайте все...». Кому — осталось неизвестным. Согласно комментировавшей закон о престолонаследии «Правде воли монаршей» Феофана Прокоповича, «народ» должен был теперь «угадывать» волю умершего государя. Проще говоря, на другой же день по смерти первого императора российский престол стал избирательным. Ни в теории, ни на практике тут не было так много нового, как может показаться нам. Первые цари дома Романовых обыкновенно «обирались» на царство земским собором, по крайней мере формальность избрания была соблюдена и при восшествии на престол Петра. Когда «св. Синод и высокоправительствующий Сенат и генералитет согласно приказали» русскому народу повиноваться вдове умершего, императрице Екатерине Алексеевне, это была не столько новая форма, сколько просто новые слова для обозначения собрания, в сущности такого же состава,

\* «Сборник Русск<ого> историч<еского> о-ва». Т. III. С. 382.

как и выбиравшее в 1682 году самого Петра, которое состояло из «освященного собора», «боярской думы» да «московских чинов». Новизна заключалась в том, что раньше, начиная с Алексея, избрание было действительно только *формой*, потому что наследник всем был известен и находился налицо; теперь же, хотя в наследнике тоже не было недостатка, в обход его избрали лицо, никаких прав на престол не имевшее. И выбрали притом не те, кто мог это сделать по традиции и от чьего лица был написан цитированный нами манифест, а опять-таки люди, формальным правом выбора не располагавшие. «Сенат, Синод и генералитет» писали под диктовку гвардии, которая в этот момент всеобщего недовольства являлась самой недовольной и наиболее опасной силой.

